

Инузуке Кибе был шесть с половиной лет от роду. Согласно словам отродья, у него были: самый крутой свитер, самый крутой щенок и самый крутой пердёж на свете, который он мог издавать в трёх разных нотах. Никто не любил драки в грязи и детские проделки больше него. На обеде он делился своим острым вяленным мясом. Иногда его старшая сестра совершала неудачную попытку что-нибудь испечь, и тогда они с отродьем могли кидаться масляными сахарными монстрами в ничего не подозревающих белок. Он столкнулся с отродьем на второй неделе нового учебного года в Академии, сморщил нос, сказал: "Ты странно пахнешь" откровенно враждебным тоном, известным только маленьким детям, и, как следствие, оказался ударен в лицо.

Час спустя он и отродье были, цитата, "отличными друзьями".

Отродье много говорило об Инузуке Кибе.

Отродье не могло перестать говорить об Инузуке Кибе.

По факту, отродье не могло перестать говорить о множестве людей. Оно включало в себя, кроме всех прочих, таких людей как: Нара Шикамару, кто много спал и поэтому оказывался с разрисованным маркером лицом каждый обеденный перерыв; Чоджи, без разбираемой фамилии, с его бесконечными чипсами и трёхуровневыми бенто, откуда отродье любило воровать еду; Шино, который мог перечислить каждого жука в учебнике; а так же мелкого Учиху. Из воспоминаний отродья было довольно очевидно, что мелкий Учиха пытался изо всех сил отменить существование отродья с помощью чистой силы воли, но в конечном счёте всё равно всегда оказывался втянутым в очередное тупое соревнование, организованное отродьем.

Отродье говорило о мелком Учихе почти столько же, сколько оно говорило об Инузуке Кибе. Курама предпочёл бы, чтобы оно говорило об Инузуке — ничего, что выходило изо рта отродья применительно к Учихам, не было чем-то хорошим.

Пример тому — Учиха Микото делала ему обеды.

Учиха Микото делала отродью трёхуровневые бенто с вычурно обёрнутыми водорослями рисовыми шариками и такояки с осьминогом в сладком соусе, яичными рулетами, суши и томатно-яичным супом — полный набор кулинарных навыков, сжатый до приготовления здоровых обедов, выглядящих так аппетитно, как возможно для шестилетнего ребёнка. К сожалению, это была даже не самая худшая часть. Худшей частью было то, что Учиха Микото делала две таких коробки, доставляемые недовольным мелким Учихой каждый обеденный перерыв, и на крышке второй коробки было написано "Менма-кун".

Она была упорна.

Курама не ходил в Академию. Поэтому каждый день, как часы, оно приносило с собой новое бенто. Он выбросил первое, выбросил второе, позволил отродью съесть третье. "Я не хочу. Можешь съесть его сам".

Отродье не съело. Иногда оно съедало половину, но Курама прекрасно знал, что два бенто были ничем по сравнению с восемью мисками рамена, которые отродье поглощало каждый поход к лапшичнику. Оно продолжило приносить их с собой, словно где-то в его глупом мозгу "нет" превратилось в "да" и пришлось ходить колесом вокруг. Сегодня, демонстрируя эту самую черту, оно открыло бенто, показало на остывшее содержимое и сказала, с особым ударением, словно это Курама здесь действовал неразумно:

— Смотри, она сделала нам рисовые шарики с лососем! И торт. Шоколадный торт. С клубникой. Я знаю, что это твоё любимое — ты должен поесть его, я оставил тебе немного.

Отродье тоже было упорно.

Так что упорных здесь было трое, поскольку Курама даже не посмотрел на торт. Он взял коробку, пинком поднял крышку мусорного ведра и был на полпути к тому, чтобы выкинуть торт и оставшиеся онигири, когда отродье толкнуло его на пол, сжимая бенто над его головой с силой, от которой у него побелели костяшки.

— Рама, я оставил тебе шоколадный торт.

Курама сделал грубый жест в его сторону.

Отродье взяло торт и, прежде чем Курама смог сесть или откатиться в сторону, или попытаться опять избавиться от обеда, размазало его по кураминому лицу.

— Готово, — сказала отродье, ухмыльнувшись.

— Айч, — прошипел Курама, потому что сделанный Учихой крем был на его ресницах.

Он принялся яростно тереть свои глаза. Это не сработало. Курама перекатился в сторону, где, как он знал, стояла табуретка, вскарабкался к раковине, повернул кран, наполнил ладони пузырящейся водой, а потом просто сдался, когда она утекла, просочившись между его пальцев. Он опустил голову под поток. Вода намочила его волосы и полилась по коже его век. Курама досчитал до семи, поднял голову, хватая ртом воздух, и обнаружил, что сделанный Учихой крем до сих пор остался на всё том же месте.

— Тебе нужен будет однажд попв-во-о-обо-ов-вать, — неразборчиво, но крайне осуждающе сказала отродье. Пол был заляпан шоколадом. Отродье сидело скрестив ноги и запихивало остатки куска торта за свои набитые щёки.

Курама не стал заморачиваться тем, чтобы удостоить это ответом.

Он выжал воду из своей чёлки и потянулся за бумажным полотенцем. Отродье, покончив со своим тортом, вскочило на ноги. Его энергичность, как всегда, была просто смехотворной.

Курама потёр бумажным полотенцем свои глаза и нахмурился при виде сладких коричневых пятен.

— Я пойду вздремну, — сообщил он отродью, разворачиваясь на пятках. — Не доставай меня.

\*\*\*

Каждое второе воскресенье всегда было плохим днём. Кучи бумаг Человека-Обезьяны снова росли ввысь, вне зависимости от того, были ли они выброшены, скреплены вместе или спрятаны прочь в папки. На столе стояли молоко и тарелка тёплых дораяки. Курама откусил кусок от одного из этих "бутербродов" и слизнул сладкую пасту из адзуки со своих зубов.

Как обычно, Человек-Обезьяна спросил о том, как прошёл их день, спросил о том, как прошла неделя, и терпеливо просидел увлечённую тираду отродья. Он издавал приличествующие звуки заинтересованности в подходящие моменты, задавал вопросы, помогавшие направлять кирпичную стену информации, и в какой-то момент в районе седьмой минуты и третьей булочки дораяки Курамы, набил табака в чашу своей трубки и поджёг его искрой чакра-пламени.

В конце концов отродье свернуло на — или, скорее, прыгнуло "рыбкой" в — тему его теперь бесконечного списка прочих человеческих личинок.

— Я рад, что у тебя появились друзья, — сказал Человек-Обезьяна, когда отродье приостановилось из-за нехватки воздуха. Он посмотрел на Кураму, который только сейчас осознал удобную возможность, которую допустило отродье, и потратил секунду на то, чтобы подготовить себя к неизбежному. Слово по сигналу, Человек-Обезьяна сказал:

— Ты по-прежнему не ходил в школу, Менма-кун.

Его голос звучал разочарованно.

Ради этой игры Курама научился терпению.

— Не ходил, — сумел сказать он.

Человек-Обезьяна сказал:

— Я заверяю тебя, Миозуми-сенсей великолепно выполняет свою работу, — это, вероятно, была оливковая ветвь. Это было одной из жалоб Курамы, когда они в последний раз заводили этот разговор.

— Я слышал.

Отродье стащило дораяки.

— Мио-сенсей крутая.

— У неё прекрасный запас терпения, — согласился Человек-Обезьяна. Его взгляд остался прикованным к Кураме — тяжесть. Курама даже не моргнул. Тон и язык тела Человека-Обезьяны всегда немного менялись, когда он обращался к Кураме — становились немного более расчётливыми, немного более созерцательными. Тяжелее, чем несерьёзная снисходительность, которую получало отродье. — Учебный материал всё ещё тебе не интересен?

— Не особенно.

— Предложение перевести тебя в третий или даже четвёртый класс всё ещё открыто.

— М-м-м.

Человек-Обезьяна выдохнул серое, растекающееся в воздухе кольцо дыма. Кончик его трубки был белым, словно кость.

— Ты не хочешь стать ниндзя, Менма-кун?

Кураме задавали этот вопрос ранее.

В мае он бы сказал нет. Он бы сказал: "Я хочу быть ниндзя", потому что ему нужно было поддерживать образ. Ему всё ещё нужно было поддерживать образ. Это было всего лишь четыре месяца назад, этот разговор; четыре месяца не должны были казаться такими длинными.

Курама решил, что это было побочным эффектом всех столкновений с Учихами, заставлявших его колебаться между напряжённой нервозностью и взрывной яростью — и ни то, ни другое не могло быть выражено физически — и другой крайностью, которая приходила с такой эмоциональной нагрузкой — апатией. И столкновений с Учихами было много. Когда его бесполезная оболочка была меньше, она автоматически вырубалась, прежде чем Курама наворачивался с этой конкретной вершины — пока-пока мир, привет сон. Теперь он просто чувствовал себя уставшим. Это было более чем ужасно. Его дурацкий человеческий мозг из соединённых нейронов продолжал переводить "устал" как "подавленность и неспособность заниматься продуктивной деятельностью." Это было изнурительно, а теперь, когда Курама опять получил полный контроль над своей высшей интеллектуальной деятельностью, ещё и попросту унижительно.

Паста из красных бобов неожиданно показалась ему горькой. Курама рассматривал Человека-Обезьяну. Человек-Обезьяна рассматривал Кураму. Было воскресенье, и Курама был бы обижен на солнечный свет — он был слишком ярок, и от него болели глаза — если бы он мог откопать в себе на это силы. Он не получил достаточно сна прошлой ночью, и непрерывная головная боль затаилась в краях его поля зрения. Приближалось десятое октября. В пятницу Учиха Микото прислала коробку, полную дайфуки, намагаша и тайяки, набитые необычной клубнично-шоколадной начинкой; всё, к сожалению, было любимой едой Узумаки Кушины, и всё, как Курама осознал с немалым ужасом, каким-то образом было его любимой едой.

И это окончательно опустошило его запас эмоций на неделю.

— Не особенно, — сказал Курама. — Я бы предпочёл быть пекарем. Или стеклодувом.

На самом деле, он бы хотел снова быть стопятидесятиметровой высоты. Но пекарь и стеклодув были допустимыми профессиями в рамках "человека".

В общем и целом — кто угодно, кроме ниндзя.

— Рама хорош в выпечке, — сказала отродье и просияло. — Ты можешь быть ниндзя-пекарем!

Курама щелчком отправил немного бобовой пасты в нос отродью.

— Убери часть с ниндзя и мы договоримся.

— Значит, ты хочешь пойти в гражданское училище? — спросил Человек-Обезьяна. Нет, Курама не хотел, но по сравнению с Академией он точно будет куда более готов пойти. Человек-Обезьяна выглядел откровенно задумчивым, но не в "этот ребёнок на самом деле Кьюби но Кицуне" духе, что, как начал осознавать Курама, было на самом деле за границами большинства воображений.

Курама пожал плечами в ответ.

— Полагаю.

— Твоя стипендия недостаточно велика, чтобы покрыть обучение, — сказал Человек-Обезьяна, как будто эта треклятая деревня вообще могла позволить этому случиться.

— М-м, — сказал Курама.

Это не увязывалось с поддержанием образа.

Но он устал поддерживать этот образ.

Дело было в том, что Курама даже не был хорош в том поддержании образов. Академия была утомительна из-за личинок-детей и вызывала ярость своими учениями, так что Курама туда не ходил. По какой-то безумной причине в свои младенческие годы он посчитал что это будет хорошей — или по крайней мере более терпимой, чем альтернативный вариант — идеей сказать отродью своё настоящее имя и позволить ему повторять его, вместо того, чтобы оставаться с "Менмой". Гнев приходил приливами. Он утягивал за собой логику, как бы она ни сопротивлялась, каждый раз. Курама знал, что у него было больше дисциплины. Он не прожил две тысячи лет, чтобы не возрастить хоть сколько-то. Однако, когда она использовалась через мозг человеческого ребёнка с чего импульсами человеческого ребёнка, единственными результатами, которые она давала, были дикие перепады настроения и неспособность продумать ничего больше, чем на полшага вперёд, если рядом была дорога к мгновенному вознаграждению.

По крайней мере пребывание на самом дне эмоциональных резервов позволяло позаниматься безжалостным самоанализом.

Отродье издало оскорблённый звук.

— Я ж сказал, ниндзя-пекарь. Мы можем вместе быть супер-пупер ниндзя, а потом я возглавлю Ичираку, а ты можешь открыть магазин вроде чизкейковой дяди Тецу.

— Ты будешь просто съесть весь рамен, который приготовишь, — пробормотал Курама.

— Нет не буду. К этому времени я придумаю рамен но дзюцу, так что там будет достаточно для меня и для покупателей.

Человек-Обезьяна влез и сменил тему, прежде чем в неё успели углубиться. Умно. Отродье могло продолжать говорить днями.

— Я уверен, что это будет вполне в пределах твоих возможностей, Наруто-кун, — сказал он с лукавой улыбкой.

— Да точно!

Человек-Обезьяна повернулся.

— И, Менма-кун, подумай ещё раз, — трубка из белой кости задымила жасмином. — Размер классов был уменьшен с тридцати до двенадцати человек, что должно было удовлетворить твоим предыдущим жалобам на то, что учителя не уделяют достаточно внимания отдельным людям, а Миозуми-сенсей отлично объясняет продвинутые концепты.

Человек-Обезьяна, на самом деле, не спрашивал.

Имя Курамы было не Менма.

— Я подумаю об этом.

Курама не поддерживал образов, но он не впадал в яростное бесчинство и не начинал проклинать и ругаться, так что, возможно, он поддерживал образы. Или, возможно, нет. Пытаться понять этот ход самоанализа было глупо. Он оборвал себя. Одно, впрочем, было ясно — его головная боль была по-прежнему здесь, и ему хотелось быть вне офиса, в кровати, задёрнув шторы, и пить горячий сладкий чай, чтобы ослабить эту тупую штуку. В данный момент у него не было сил ни на насилие, ни на ругательства.

Ну нет. Не совсем. У Курамы всегда были силы на насилие и ругательства, но в последнее время это было больше делом привычки, чем результатом искренних эмоций.

— Попробуй, Менма-кун.

\*\*\*

Прошло полторы недели с тех пор, как Курама проигнорировал попытку Человека-Обезьяны отправить себя обратно в Академию. У него было много вещей, которыми стоило заняться в это время: печать, которую нужно было расколоть, другие печати, которые нужно было создать, торговые пути, над которыми нужно было подумать, география, которую нужно было изучить. Из всего этого Курама занимался ровным счётом ничем. Вместо этого он сидел под одеялами, читая свои сборники, и покидал своё укрытие только ради горячего какао или супа. Он ел по-минимуму — у него не было аппетита. Было желание сделать что-то, но оно не было достаточно сильно, чтобы Курама начал действовать.

Он много спал.

Он избегал зеркал.

Иногда он делал неверный шаг и с зеркала в ванной или над стойкой для обуви в прихожей на него смотрела детская версия Узумаки Кушины: фиолетовоглазая, с неровной чёлкой, волосами, подстриженными до подбородка. Тощая. С мрачно поджатыми губами. Оболочка выглядела как две капли воды похоже на неё. Почти шесть лет прошло, а он всё ещё сидел внутри неё. Он всё ещё сидел в этой деревне. В последнее время Курама задумывался, не застрял ли он до конца своих лет. Просто — даже не в оболочке. Оболочка сломается, она уже ломается, Отца ради, с её бесконечным запасом болей. Но застрял, скованный, в услужении людям, как все его братья и сестры.

Это была мрачная мысль. Это была мрачная неделя.

И заканчивалась она десятым октября. Прошло шесть лет, и Курама снова прошёл полный круг.

Снаружи царила ночная темнота. Светили уличные лампы, ряды фонарей, протянутые вдоль линий проводов и бельевых веревок, слегка покачивались на ветру. Дыхание Курамы затуманило стекло. Он стёр рукой конденсат, глядя сквозь окно наружу. Восемьдесят тысяч булавоочных головок сигнатур сливались в сияющее море. Сегодня все в Конохагакуре покинули свои дома и отправилась на рынок, чтобы присоединиться к Фестивалю.

Курама сидел на краю кровати, скрестив ноги, одетый в юкату — красную, с белой каймой и бело-золотыми кои, изображёнными на спине. В двух шагах в сторону Щенок пытался засунуть отродье в аналогично ослепляюще-яркую одежду. Подсолнухи разворачивались бледно-жёлтым на рукавах отродья. Его пояс был тёмно-коричневого цвета.

— Быстрее быстрее быстрее! — оно отмахнулось от рук Щенка, когда тот пытался поправить его насыщенно-оранжевый ворот. — Ину, мы опоздаем!

— Невозможно опоздать на фестиваль, — сказал Щенок.

— Возможно! Мы пропустим феерверки!

— Вы не пропустите феерверки, — ответил Щенок.

Поправив ворот юкаты, Щенок передал отродью фестивальную маску. Она была сделана из дешёвого пластика и изображала лицо мультяшной лягушки, обрезанное так, чтобы оставлять нижнюю половину лица видимой. Настолько же дешёвая и пластиковая маска кота, разрисованная коричневыми линиями, лежала на коленях Курамы. Щенок вместо своей обычной, положенной ему как АНБУ маски, надел на своё лицо карикатуру на полную женщину-торговку. Впервые он не был ни в броне, ни в униформе. Он носил серую юкату в нежно-серебряную полоску.

Отродье повернуло маску на бок своей головы и издало триумфальный звук. Оно выглядело смехотворно. Щенок выглядел ещё более смехотворно — с женщиной на месте своего лица и волосами, которые как обычно пытались изобразить из себя серебристое воронье гнездо.

Курама посмотрел в сторону зажжённых фонарей. Он сказал, немного отдалённо:

— Полагаю, ты не позволишь мне спокойно остаться здесь.

— Ни за что, — ответило отродье, радостно крутанувшись перед зеркалом. Оно поправило свою маску, и его голубые глаза выглянули из дырок в лягушачьей морде.

Воздух снаружи был холодным и свежим. Фонари сияли золотым ручьём, человеческие сигнатуры чакры пульсировали сообща, светлячки собрались в закрученную ленту света. Трещали громче всего для чувства чакры Курамы ликование, радость и юношеский восторг, обёрнутый вокруг нитей старых скорби и обиды. Это был второй фестиваль в честь Героя. К счастью, Человек-Обезьяна остановил Кураму и отродье — в основном отродье — от присутствия на первом. Курама надел свою маску, когда они пришли на главный рынок. Толпа была разодета в яркие юкаты и разнообразные маски; деревянные прилавки были разукрашены; воздух пах дымом, жаром и жжёным сахаром.

Шесть лет прошло с десятого октября, и люди превратили этот день страданий в праздник в честь погибших.

Курама стоял среди них. Отродье тоже было там, и, к несчастью, всегда держалось подле Курамы, и оно было слишком многими образами, упакованными в тело мальчика, который всего лишь хотел, чтобы мир любил его. Слева от Курамы Щенок был дугой статического электричества. Последнее время Курама едва чувствовал йоту от вызываемого Шаринганом импульса выцарапывать глаза в его присутствии.

У отродья была хватка как у мясорубки. Чакра Щенка потрескивала, словно посмеиваясь.

Праздничные фонари сияли, а воздух был наполнен дождём радости и света; двое мелких человеческих мальчишек сидели на корточках рядом с неглубоким тазом, пытаясь выловить золотых рыбок хлипкими бумажными сачками; очередь вилась вокруг прилавка с тайяки; гуляли парочки, бесцельно и неспешно, держа в руках насаженные на палочки яблоки в карамели.

Курама рефлекторно начал делать глубокие вдохи и выдохи, считая от десяти к нулю. Нужды в этом не было — безотчётный, жестокий гнев так и не появился. Как неожиданно. Он оглядел их, этих крошечных человечешек, больших, чем Курама в его текущей форме. Живущих своими жизнями. Радостных. Он смотрел на них и не чувствовал ни гнева, ни жестокости, но определённо и ни радости. Он вдохнул. Ничего. Он выдохнул. Ничего. Он коснулся рукой своей груди.

Оно и к лучшему.

Последний фестиваль, который посещал Курама, был пятьсот лет назад, в его честь, и маленькие людишки налили sake в переполненные тазы, и закололи десять своих лучших коров, и настояли на том, чтобы подобающе одеть его (с множеством заверений, что Курама выглядел более чем достойно и так, разумеется, но добавление вот этого и вот этого сделало бы его ещё более впечатляющим). Они повязали длинные позвякивающие нити стекляшек на его когтях, обернули расшитое полотно поверх его плеч. Золотой, белый и красный. Дети размазали краску по его хвостам, под его глазами. Воздух был наполнен дождём радости и света, и это был праздник урожая, который длился три дня и три ночи распивания выпивки, смеха и нескольких очень решительных художников, пытающихся расписать хвосты Курамы. Когда он закончился, он укатился на восемьсот километров на запад к Шукаку и крайне искренне попытался забиджудамить его в ущелье, когда его брат буквально упал на землю от

смеха со словами: "О-о-оу! Посмотри на себя, весь разодетый. Эй, Курама, кто эта счастливица? Как старший, я имею..." — а потом он отправился в полёт.

Отец научил их манерам — в теории; на практике между братьями они работали не особенно хорошо, поскольку все братья Курамы были засранцами.

Курама знал это племя много, много времени. Теперь их не было. Как и его братьев. Как и его Отца.

Свет фонарей заставлял тени дрожать. Вокруг было очень шумно.

Ему хотелось остро, но отдалённо, вернуться домой и лечь спать.

Вместо этого, поскольку отродье тоже было засранцем и спорить с ним на некоторые темы было бессмысленно, Кураму тащили туда и сюда в попытках попытаться изучить пятьдесят игр и пятьдесят прилавков с едой одновременно.

Теперь появилось раздражение.

Оно быстро прошло.

Щенок платил за всё, и отродье воспользовалось этим, покупая по несколько порций всего. Яблоки в карамели и розовые моти, посыпанные сахарной пудрой, пластиковая коробка с двумя порциями якисобы, якитори в соусе чили, шоколадно-банановые палочки, которые оно незамедлительно отдало Кураме. После этого оно отправилось в путешествие с целью попробовать и проиграть в каждую игру, которая была на фестивале, пока Щенок щедро компенсировал его нехватку способностей, выловив полдесятка плюшевых игрушек.

Они встретили много раз упомянутого Инузуку Кибу возле игры с ловлей золотых рыбок.

Он сидел на корточках рядом с мелким деревянным тазом, держа в руках миску и бумажный сачок, почти заработав себе косоглазие от напряжения. Его фестивальная маска была повернута набок, чтобы было видно лицо. Девочка постарше в фиолетовом кимоно облокотилась о прилавок, поедая жареного кальмара. Они пахли огне-землёй. Собакой. Осенними листьями. На их щеках были видны одинаковые перевёрнутые красные треугольники.

Отродье замерло на месте.

— КИБА! — завопило оно, подтверждая, что это был, действительно, тот самый Инузука.

Инузука Кибя обернулся, держа в руке сломанную сеть.

— Узумаки, — широко улыбнулся он. У него и отродья был один и тот же уровень громкости.

— Киба, Киба, это Курама, — сказала отродье и толкнуло Кураму вперёд.

— Ты — отстой, — сказал Курама, спотыкаясь.

Девочка в фиолетовом цокнула языком. Краешки её губ резко загнулись вверх.

— Ага, это типа вселенского соглашения между братьями и сестрами.

Так что Курама, блять, стоял там, пока Щенок-номер-два изучал его. Это, как подумал он, сильно напоминало знакомство с мелким Учихой, за исключением того, что этот ребёнок не был Учихой.

Щенок-номер-два сказал:

— Круто, — а потом повернулся, как маленький незаинтересованный ребёнок, обратно к отродью, чтобы начать рассказывать историю о глупости использования бумажных сетей для ловли золотых рыбок. Разумеется, это только побудило отродье попробовать игру самому.

Он добился тех же результатов, что и Щенок-номер-два. Ещё полдесятка сетей усеяли пол.

— Это и правда тупо, — сказала оно в согласии с мнением Щенка-номер-два, высывая язык и пытаясь загнать рыбу в свою миску и эпически проваливаясь.

— Как я и говорил, — ответил Щенок-номер-два.

— Вы просто оба совершенно не умеете этим заниматься, — фыркнула девочка в фиолетовом.  
— А ещё мне плевать, что я по идее должна с тобой нянчиться. У нас есть время до феерверков, прежде чем мы должны будем вернуться к маме. Если я буду вынуждена потратить ещё хотя бы минуту...

Раздался грохот, похожий на раскат грома.

Феерверки расцвели над их головами, красные, жёлтые, голубые и зелёные, бросая тени на каменные лица.

Девочка в фиолетовом посмотрела вверх. Щенок-номер-два посмотрел вверх. Бледный свет отражался от их белых масок и расцветивал их лица странными цветами. Глаза отродья выпучились до размера тарелок, его рот распахнулся в маленькое "о" удивления, а лицо обратилось к небу.

— ...Дерьмо, — выругалась девочка в фиолетовом.

Щенок-номер-два мрачно согласился.

— Мама нас прикончит.

\*\*\*

А потом в воздух взмыли фонари.

\*\*\*

Фонари поднялись тысячами искорок золотого света, всё выше и выше, словно море звёзд. Их бледные бумажные оболочки сияли теплом костров. Они были белыми, красными, синими и узорчатыми, и на бумажном боку каждого из них было чьими-то руками написано имя — кандзи были слишком мелкими, чтобы Курама мог разглядеть; несколько тысяч имён для нескольких тысяч ламп для нескольких тысяч душ, написанных теми, кто остался. В Обон фонари отправлялись вплавь по реке Нака. В день Героя они поднимались в воздух с именем вместо якоря и пламенем, чтобы осветить путь в Чистый Мир.

Щенок-номер-два и его сестра убежали прочь прежде, чем их шансы на смерть от материнского неодобрения успели возрасти. Феерверки вспыхнули раз, два, пять. Потом первый фонарь, словно одинокая, ослабшая птица на ветру, паря над крышами.

Потом ещё один. И ещё один.

Пока их не стало целое море.

У Щенка было четыре фонаря. Курама не имел ни малейшего понятия, где он их держал, только что теперь они аккуратно рядом со Щенком. Они были простыми и белого цвета. Он передал один в курамины руки и другой в отродьевы. Фонарь был невесомым.

— Для кого это? — спросило отродье, склонив голову набок.

Щенок не ответил.

Он провёл костяшками вдоль бока фонаря и внутри расцвело пламя.

Они взмыли, эти две лампы, а потом ещё две, стоявшие рядом со Щенком, чтобы присоединиться к шествию в воздухе. Курама углядел часть символов. Верхний кусочек Узумаки и кандзи, которыми писалось Кушина, на бумажной оболочке, взмывающей из его рук. Это была горькая ирония. Он вдохнул холодный воздух и выдохнул облачко пара.

Он чувствовал.

Он не знал, что он чувствовал.

Он был зол. Он не был зол. Горячо, а потом холодно, только вот Кураме никогда в жизни не было холодно. Он поднял руку, словно чтобы коснуться бумаги, но не коснулся, и вместо этого позволил ветру унести фонарь прочь. На фоне продолжались феерверки. Они были громкими. Фонари были яркими. Чакра радости прокатилось по нему нежной волной. Было некое расстояние, возможно, между ним и его текущими делами, но, возможно, всё было наоборот, возможно, не было никакого расстояния, потому что прямо сейчас он не был зол, а объекты не становились символами, пока им не придавалось значение. Он чувствовал себя профессионально, совсем под контролем и немного опустевшим. Как угли, накрытые пеплом очага. Ветер дул в его лицо. Его юката была недостаточно толстой, чтобы защитить от холода. Его ноги немного болели от перемещений от прилавка к киоску. Щенок и отродье стояли слева от Курамы. Ни одно из этих ощущений не воспринималось преобладающим или присутствующим в настоящем.

Внутри него было безразличие, какая-то зияющая пустота, которая была тёмной, чёрной, но искушающе мягкой. По какой-то причине это чувство напомнило ему стояние посреди бесконечных ущелий. Это было годы и годы назад, когда он ещё не привык к одиночеству, пришедшему, когда его братья рассеялись по миру. Тогда Курама стоял посреди песка, неба и воздуха, что отдавались эхом, и чувствовал себя утопающим камнем. Он чувствовал себя словно жаворонок, подброшенный в великую голубую пустоту неба, столь маленьким, точкой на фоне солнца. Он чувствовал себя как щепка на волнах, без назначения впереди, утягиваемая потоками, что были совсем, совсем за пределами его контроля.

И небо было голубым, и он бы мог потерять себя в нём, в этом бесконечном ленивом отсутствии чего-либо, кроме воздуха, песка и неба, и он хотел потерять себя в нём, сейчас, в успокаивающей темноте. Он хотел спать, спать, спать и не просыпаться. Он проснётся только тогда, когда вновь начнётся весна и деревья пропоют ему песню, окутанную его собственной чакрой.

Шесть лет не должны были казаться тысячелетием.

Ему нужно было открыть эту печать.

<http://tl.rulate.ru/book/58665/1502542>